

Неизданное предисловие к «Народным рассказам» Л. Н. Толстого с иллюстрациями Бориса Дюдорова

Дмитрий Бурба
**НАРОДНЫЕ РАССКАЗЫ
ЛЬВА ТОЛСТОГО**



Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.
Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.

Возможно, на этих строках стихотворения «Память» Николая Гумилева лежит доля ответственности за появление идеи, озвученной Иосифом Бродским при открытии книжной ярмарки в Турине: указывать на обложках книг не только имя автора, но и возраст, в котором произведение было написано. Л. Н. Толстой придавал своим ранним и поздним произведениям далеко не одинаковое значение. «На мой взгляд, человек и может написать что-нибудь истинно порядочное лет под сорок–пятьдесят. А до той поры в нем все еще бродит и страсти командуют... Только лет десять назад глаза мои открылись на мир Божий, и я стал понимать жизнь», — откровенно заявил он в шестидесятидвухлетнем возрасте.

Почти все вошедшие в данную книгу рассказы созданы Толстым на отрезке жизни от пятидесяти шести до пятидесяти девяти лет (исключение — легенда «Чем люди живы», появившаяся на свет тремя годами ранее). Их автор был уже не тем человеком, который в двадцать с небольшим «стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости» мемуары (трилогию «Детство. Отрочество. Юность»), «чтобы иметь славу и деньги». И это не тот Толстой-семьянин, о котором в его «Исповеди» сказано: «Несмотря на то, что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплеканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей. Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше».

Автор этих рассказов — тот Толстой, который уже задал себе серьезные вопросы: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?.. Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж!» Это Толстой, который после посещения московских ночлежных домов «сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля: “Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!”» Это тот Толстой, кото-

рый уже пережил вызванный ясным осознанием неизбежности предстоящей смерти «ужас красный, белый, квадратный» и начал писать «Смерть Ивана Ильича»: «Ложь, обман, ложь, ложь, ложь, ложь, все ложь. Все вокруг меня ложь, жена моя ложь, дети мои ложь, я сам ложь, и вокруг меня все ложь». Этот Толстой спрашивал себя: «Не нынче — завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся — раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать?.. Что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире?» И он понял, что «ответы, даваемые верою, имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа».

Поиски живой веры преобразили Толстого. Поэт Я. П. Полонский, встретив своего старого приятеля после двадцатилетней разлуки, был поражен: «Я никогда в молодые годы не видал его таким мягким, внимательным и добрым и, что всего непостижимее, таким уступчивым... Так опроститься, как граф, можно не иначе, как много переживши, много передумавши. Я видел его как бы перерожденным, проникнутым иною верою, иною любовью... Одним словом, это был уже не тот граф, каким я когда-то в молодости знавал его». Кензиро Токутоми, японский писатель и последователь Толстого, вспоминает, что 1906 году тот задал ему вопрос: «Вы знаете, сколько мне лет?» «Семьдесят восемь», — ответил японец. — «Нет, двадцать восемь». Подумав, Токутоми сказал: «Ах, да, считая Ваше рождение с того дня, когда Вы стали новым человеком». Толстой утвердительно кивнул головой. А сыну он писал (о причине разногласий с женой): «Горе в том, что она любит меня такого, какого уже нет давно. А того, какой есть, она не признает, он ей кажется чужд, страшен, опасен». Страшным и опасным Толстой стал и для российской цензуры, запрещавшей издавать его новые произведения (в том числе и рассказы, вошедшие в эту книжку).

Идея издания народных рассказов принадлежит другу и соратнику Толстого В. Г. Черткову, который поделился ею в письме от 15 сентября 1884. При горячем одобрении Льва Николаевича и его активном участии группа единомышленников организовала издательство «Посредник», в программных установках которого было сказано: «С каждым годом увеличивается число грамотных людей в народе. Вместе с ним возрастает потребность к чтению. Она выражается в спросе на книги. Много учреждений, обществ и частных лиц желают удовлетворять этому спросу и берут на себя труд издавать и распространять различные книги. В числе их есть хорошие, есть и дурные. Желающие приобрести хорошие книги встречают два затруд-

нения: Одно — как выбрать именно хорошие книги, другое — как дешевле приобрести их?.. Цель наша — не получение барыша, а лишь содействие распространению хороших книг».

Уже 4 июня 1885 года известный книготорговец И. Д. Сытин писал Толстому: «Ваши новые книжки очень всем нравятся, и раскупают [их] большими количествами. У меня есть на ремесленной выставке стол с моими произведениями, где идет продажа по мелочи. Ваши книжки все продаются очень успешно. Каждый подошедший не уйдет, не купивши, они разложены в большом количестве и продаются на три копейки две, по дешевизне, и изящный вид привлекает покупателей. Купивши же и прочитав, приходят нарочно второй раз на выставку, требуя еще других таких рассказов, и приводят с собой знакомых. Кто купит одну или две книжки, после непременно придет, требуя еще таких, и купит все, сколько есть... Очень много покупательниц — женщин с детьми». Упомянутый в цитате «изящный вид» книжкам придавали помещенные на обложке репродукции картин (И. Е. Репина, Н. Н. Ге, К. А. Савицкого и других художников), пояснением к которым служил рассказ Толстого.

Автора «Народных рассказов» ни в коей мере нельзя причислить к тем писателям, которые рассуждали: «Я никуда не гожусь, не попробовать ли писать для народа?» В письме М. Е. Салтыкову-Щедрину Толстой признался: «Про себя скажу, что когда я держу корректуру писаний для нашего круга, я чувствую себя в халате, спокойным и развязным; но когда пишешь то, что будут через год читать миллионы и читать так, как они читают, ставя всякое лыко в строку, на меня находит робость и сомнение».

Один советский писатель-фантаст ставил Толстому в укор скудный, по его мнению, словарный запас и нежелание поучиться изящному слогу. Однако эта «скудность» стала результатом огромного труда — сознательного отсева автором ненужных слов и выражений. Еще до женитьбы, в пору первого увлечения работой в деревенской школе, Толстой пытался читать крестьянским детям стихи Пушкина и «Илиаду» в переводе Гнедича, но ученики «предполагали, что это написано по-французски, и ничего не понимали». Писатель осознал, что язык высших слоев российского общества — это вовсе не тот русский язык, которым разговаривает народ. В написанных вскоре заметках «О языке народных книжек» Толстой советовал: «Язык должен быть не только понятный или простонародный, но язык должен быть хороший. Красота или скорее доброта языка может быть рассматриваема в двух отношениях. В отношении самых слов употребляемых и в отношении их сочетания. В отношении слов, ежели я скажу, что не надо употреблять слова — *великолепный*, относя его к голосу или нравственным качествам человека, а говорить *хороший*, пре-

красный, не говорить *щедрый*, а говорить *простой*... (я уже не упоминаю о иностранных словах, которые легко могут быть заменены русскими), то я советую не то что употреблять простонародные, мужицкие и понятные слова, а советую употреблять хорошие, сильные слова и не советую употреблять неточные, неясные, необразные слова».

В письме Н. Н. Страхову Толстой объясняет: «Я изменил приемы своего писания и язык, но, повторяю, не потому что рассудил, что так надобно. А потому, что даже Пушкин мне смешон, не говоря уж о наших элукубрациях [“разглагольствованиах”, фр.], а язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил. Язык этот, кроме того — и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, что хочешь мели — все похоже на литературу». О том, что простота языка «Народных рассказов» отнюдь не является простоватостью, свидетельствуют восхищенные отзывы современников Толстого. Академик В. В. Стасов писал ему: «Мне до страсти хотелось сказать Вам, до какой степени я пришел в восхищение от Вашей легенды “Чем люди живы”... Уже один язык выработался у Вас до такой степени простоты, правды и совершенства, какую я находил еще только в лучших созданиях Гоголя». Редактор газеты «Современные известия» отмечал: «Каждое слово, каждый оборот, отсутствие синтаксиса (искусственного), потом образы (типы и события), в которых олицетворилась притча, все это совершенство». В рецензии журнала «Русская мысль» было сказано: «Язык писателя окреп еще более, стал трезвее и мужественнее; он поражает своею библейскою простотой. Кроме того, на нем видны явные следы сильного влияния народной речи, у которой автор умеет заимствовать меткость и выразительность ее оборотов. Но это не внешнее, подражательное заимствование; во всей сказке нет ни одной строки, которая звучала бы подделкою под народный говор, что так неприятно оскорбляет слух в работах иных писателей. Вслушиваясь в язык гр. Толстого, невольно чувствуешь, что народная речь усвоена им и стала его личным достоянием: он не копирует мужицкую фразу, но он проникнут ее духом и внутренним складом, — не только говорит, но и думает по-народному».

В «Исповеди» Толстой утверждал, что любовь к настоящим рабочим людям позволила ему понять простой народ и увидеть, что тот вовсе не так глуп, как кажется. Собранные в этой книжке рассказы «народные» не только по форме, но и по происхождению: почти все они в той или иной степени основаны на фольклорных источниках. («От них взял и им же отдал... Чего я не выношу — это желания интеллигенции поучать народ».) В рецензии на рассказ «Чем люди живы» философ и публицист Н. Н. Страхов

спрашивает: «Откуда же неотразимое впечатление этого рассказа? В чем его сила? Без сомнения, в том, что художник стал совершенно в уровень с этими людьми, что он смотрит на них не сверху и не снизу, а прямо, как на равных, как на братьев, как на своих. Он даже стал говорить их языком так же, как он здесь думает их мыслями и чувствует их чувствами. Тон рассказа поэтому несколько уклоняется от прямого тона самого художника, это, собственно, народный рассказ, пересказанный Л. Н. Толстым. Пересказ этот, однако, таков, что народное сказание делается в нем для нас вполне понятным, исполненным глубокого смысла, какого мы никогда не сумели бы найти в простом народном сказании».

Рассказ «Чем люди живы» — первая из художественных работ Толстого, опубликованная после четырехлетней паузы, вызванной пережимом им в 1877 году душевным переломом, в корне изменившим мировоззрение писателя. Поводом для создания этого шедевра стала просьба супруги написать что-нибудь для редактируемого ее братом журнала «Детский отдых». Толстой решил переработать одну из легенд, которую он услышал от известного народного сказителя В. П. Щеголенка. Ее фабула относится к числу так называемых странствующих сюжетов; древние варианты можно обнаружить в Вавилонском Талмуде, Коране, в арабских сказках «Тысяча и одна ночь». В средние века рассказ вошел в состав латинских сборников «Жизни отцов» и «Римские деяния» и стал известным в Византии, откуда попал на Русь. В сборнике поучений и житий святых, известном под названием «Прóлог» (также «Синаксарь» или «Синаксарий») легенда названа «О суждех Божиих не испытываемых». Она призвана объяснить, почему добрый и справедливый Бог допускает страдания и смерть неповинных людей: мол, все, что мы считаем злом, на самом деле обращается во благо. Эта же мысль была высказана Толстым в раннем рассказе «Люцерн» (сам автор впоследствии находил его «попорченным гегельянством»), но в легенде «Чем люди живы» мысль о промысле Божиим вовсе не занимает центрального места.

Тем читателям, у которых интерес к Толстому пробудился благодаря экранизации «Войны и мира», наверное, небезынтересно узнать, что рассказ «Чем люди живы» тоже был экранизирован, причем еще в 1916 году. Илья Львович Толстой (сын писателя), проявивший инициативу в деле создания фильма, долго не мог найти актера на роль ангела, падающего голым в снег. Из удальства согласился молодой А. Н. Вертинский. Он нагишом залез на крышу амбара, прыгнул в сугроб спиной к киноаппарату, огляделся и пошел по дороге вдаль. Через пару минут совершенно окоченевшего певца завернули в шубу, повезли в деревенскую избу, стали оттирать снегом и отпаивать коньяком. Какая-то старуха плакала и жалобно причитала: «И... бедненький... Как же ты так допился, сердешный? Кто

же тебя ограбил, родименький? Догола раздели... Совесть у людей нет!..» Сострадание, собственно, и составляет суть рассказа Толстого. Часто оно дается людям очень нелегко. Ангел вспоминает: «И увидел я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, и страшно мне стало это лицо, отвернулся я от него». (Вполне справедливо подметил Корней Чуковский: «Когда читаешь Толстого, кажется, как это ни дико, что все другие писатели искажали для нас правду жизни».) А «женщина была еще страшнее человека, — продолжает ангел, — мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти». («Если бесконечна доброта женщины, то бывает, что и злости ее нет конца», — такая цитата присутствует в одном из составленных Толстым сборников мудрых изречений.) Но вот человек, прошедший было мимо фигуры, замерзающей на снегу, преодолел себя и вернулся назад: «Взглянул я и не узнал прежнего человека, — удивляется ангел. — То в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал Бога». Каждому однажды придется сделать выбор между мертвым духом и Божьим светом.

В романе А. И. Солженицина «Раковый корпус» одному из неизлечимых больных, который «всей жизнью своей был подготовлен к жизни, а не к умиранию (этот переход был ему свыше сил, он не знал путей этого перехода — и отгонял его от себя)», в руки случайно попадает томик народных рассказов Толстого. «И повеяло на него сразу, что идет как бы о деле». Он пробует поделиться возникшим чувством с сопалатниками и задает им вопрос из заглавия: «Чем люди живы?» Ответы однотипные:

— Довольствием. Продуктовым и вещевым.

— Зарплатой, чем!

— Раньше всего — воздухом. Потом — водой. Потом — едой... И спиртом.

— Квалификацией.

А у Толстого — «даже и вслух это не выговаривалось. Неприлично вроде. — Мол, любовью». В «Пути жизни» Лев Николаевич отмечает, что когда «называют одним и тем же словом любовь духовную — любовь к Богу и ближнему, и любовь плотскую мужчины к женщине или женщины к мужчине, это большая ошибка. Нет ничего общего между этими двумя чувствами. Первое есть голос Бога, второе — голос животного». По Толстому человек жив не заботой о себе (как сказано в Евангелии, «кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?»), а человечностью, которая, будучи проявлением Живого Бога, и делает человека живым, отличающимся от биологического автомата.

История о замерзающем нагом человеке, которого пожалели, одели и накормили, вызывает в памяти притчу из Евангелия: «Алкал Я, и вы дали

Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне... Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Именно этими словами заканчивается рассказ «Где любовь, там и Бог». Данное произведение Толстого является, фактически, переработкой рассказа «Дядя Мартын» (который, в свою очередь, был пересказом истории из сборника «Рассказы и аллегории» французского писателя Р. Сайяна), опубликованного, без указания автора, журналом «Русский рабочий». Журнал прислал Толстому Чертков, написавший также, что мысль этого рассказа «до такой степени важна и дорога, что желательнее передать ее возможно трогательнее и убедительнее». Толстой четыре раза переделывал рассказ, избавил его от евангелической сентиментальности, ввел новых действующих лиц и, главное, придал всем персонажам жизненность. Если в исходном тексте лишь упоминается, что Мартын был сапожником, то у Толстого сапожник целый день занят своим ремеслом, которое автор описывает (как и в рассказе «Чем люди живы») со знанием дела — в это время Толстой сам научился шить сапоги. (Обоснование: «Я только тогда могу быть счастливым и удовлетворенным, когда я имею твердое убеждение, что моя деятельность полезна другим. Книга, которую я пишу... симфония, которую я сочиняю... могут быть полезны людям, но могут также быть, как это и бывает по большей части, совершенно бесполезными и даже вредными».) Толстой вообще старался писать лишь о том, что ему хорошо известно. Так, начав работу над рассказом «Ильяс» в Крыму, он сначала хотел сделать героем рассказа крымского татарина, но потом перенес действие в более знакомые ему башкирские степи. Особая внимательность к изображению бытовых подробностей и характеров превращает персонажей Толстого не в схематичных статистов, а в настоящих живых людей. Еще в большей степени способность «оживлять» действующих лиц проявлялась в устной речи писателя. Максим Горький восхищался: «Он как-то лепит руками из воздуха, как скульптор, и вот видишь перед собой все эти лица и фигуры как живые! Лепит, лепит, создает все из воздуха, вызывает к жизни из ничего, а потом дунет — и все исчезло! Колдун!.. Как-то рассказал мне содержание одной новой повести какого-то молодого, неизвестного автора, напечатанной в одном плохоньком журнальчике... Так рассказал, что у меня глаза на лоб вылезли. “Батюшки, — думаю, — новый талантище появился, а я и прозевал!” Пришел домой, отыскал эту повесть, прочел, — только в затылке почесал: конечно, ерунда! Бездарность безнадежная, ничего и похожего-то нет на то, что рассказал Толстой! Ах, если бы тот мог написать так, как этот пересказал им написанное!»

Вернувшись к пересказанной Толстым легенде «Чем люди живы», обратим внимание на еще одну ее важную мысль: «Живы будем, сыты будем». Это парафраз утверждений Нового Завета «Трудящийся достоин пропитания» и «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их». Практика доказывает справедливость такой установки. Это не означает, что, последовав ей, вы обязательно получите больше денег (данный сборник рассказов — не одно из бесчисленных и бессмысленных пособий на тему «как сделать миллион»). Но счастливее обязательно станете. Иногда для этого потребуется лишиться денег и всего имущества. Так случилось с разорившимся героем рассказа «Ильяс», чья жена на старости лет делится жизненным опытом: «Были мы богаты, не было у нас с стариком часу покоя; ни поговорить, ни об душе подумать, ни Богу помолиться... Так жили мы из заботы в заботу, из греха в грех и не видали счастливой жизни... Теперь встанем мы с стариком, поговорим всегда по любви, в согласье, спорить нам не о чем, заботиться нам не о чем, — только нам и заботы, что хозяину служить... Пятьдесят лет счастья искали, теперь только нашли». Чтобы не было сомнений в жизненной достоверности данного сюжета, приведем документальную иллюстрацию из воспоминаний А. Н. Вертинского о жизни в эмиграции: «У меня, в кабаре “Черная роза”, на вешалке стоял швейцаром бывший сенатор. Я никогда не видел швейцара, который был бы более удачен на своем месте, чем он. Он был услужлив, любезен, сообразителен и умел угодить публике, как никто... — Тяжело вам, Константин Иванович? — спрашивал я. — Что вы! Что вы! Отлично!.. — Он был счастлив». Отметим только, что для обретения прочного счастья необходимо признать над собой еще и Высшего Хозяина, о котором знал персонаж одного из поздних рассказов Толстого: «Кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного Хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же Хозяина, а что Хозяин этот не обидит». Об этом Небесном Хозяине персонаж коротенького рассказа «Вражье лепко, а Божье крепко» говорит одержимому дьяволом:

— Твой хозяин велел тебе меня рассердить. Да мой Хозяин сильнее твоего: и ты не рассердил меня, а рассержу же я твоего хозяина.

Осознание реальности этого Хозяина помогает преодолеть любой страх. Герой легенды «Крестник» отважно противостоит разбойнику-убийце: «Не боюсь я тебя, я только Бога боюсь. А Бог не велит».

Упомянув в письме из Крыма о замысле рассказа «Ильяс», Толстой обращается к жене со следующим замечанием: «Еще думал по тому случаю, что Урусов, сидя в карете, все погонял ямщика, а я полюбил, сидя на козлах, и ямщика, и лошадей, что как несчастны вы, люди богатые, которые не знают ни того, на чем едут, ни того, в чем живут (то есть как строен дом), ни что носят, ни что едят. Мужик и бедный все это знает, ценит и получает больше радостей». Огромную радость Толстой получал от простой мужицкой работы: заготовки дров, пахоты, косьбы. Длительные равномерные движения косы позволяли ему входить в особое, как сегодня сказали бы, медитативное, состояние: «Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты». Осенью 1886 года Г. П. Данилевский, посетив Толстого, среди прочего услышал от него: «Вы не поверите, что за удовольствие пахать! Идешь, поднимая и направляя соху, и не заметишь, как ушел час, другой и третий. Кровь весело переливается в жилах, голова светла». В рассказе «Свечка» символом непоколебимой молитвенной безмятежности духа стало ровное пламя свечи (традиционный образ индийских текстов по йоге), прикрепленной пашущим Петром к распорке сохи. По свидетельствам знакомых Толстого, он говорил, что сюжет «Свечки» был услышан им в дороге, от пьяного мужика, и что он от себя почти ничего не добавил. Но Чертков, готовя рассказ к публикации, написал Толстому о смущении, которое у сотрудников издательства «Посредник» вызывает жуткое окончание рассказа, и приложил к письму два варианта хэппи-энда. Толстой ответил: «Начинал писать и написал другой конец. Но все это не годится и не может годиться. Вся историйка написана ввиду этого конца. Вся она груба и по форме и по содержанию, и так я ее слышал, так ее понял, и иною она не может быть — чтобы не быть фальшивою». Все же писатель попробовал переделать окончание: приказчик «стал тосковать и не стал ни до чего доходить», запил и меньше чем через год «от вина и помер». Впоследствии автор говорил, что эта переделка его не удовлетворяет; в последующих изданиях рассказ опять был представлен в первоначальном виде.

В «Свечке» Толстой устами Петра обосновывает свой знаменитый принцип ненасилия: «Ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет. Человека убить не мудро, да кровь к душе липнет. Человека убить — душу себе окровенить. Ты думаешь — худого человека убил, думаешь — худо извел, ан глядь, ты в себе худо злее того завел».

В работе «Так что же нам делать?» Толстой отдал дань уважения двум соотечественникам: «За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое мирозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, — это были два живущие теперь замечательные человека, оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу, — крестьяне Сютаев и Бондарев». Если Бондарев положил в основу своей проповеди библейское «В поте лица снеси хлеб, и в муках родиши чада», то Сютаев отстаивал «любовь и братство всех людей и народов и полный коммунизм имущества». Он перестал запираť ворота и калитку, отпер свой амбар, снял замки с сундуков. «К чему присяга, а? — говорил он. — К пролитию крови. До последней капли!.. Да нешто энтó возможно? Где энтó нам указано, чтобы друг дружку бить, друг дружку колоть, кровь человеческую проливать? Опять же, Евангелие не приказывает клясться». Сютаеву возражали:

— А турка-то! Куда ты его денешь?

— Мы сами турка — вот что! — отвечал Сютаев. — Турка-то тоже от Бога... Приди ты ко мне татарин, еврей, турка — рази я могу его тронуть? Да для меня вси равны, вси братья, вси ближние!

— Ну а ежели, к примеру, турка возьмет нас, завоюет — тогда что?

— Он тогда нас возьмет, когда у нас любви не будет. Турки нас возьмут, а мы их в любовь обратим. И будет у нас единство, и будем мы вси единомысленные. И будет тогда всем добро и всем хорошо.

«Да, удивительно! — восклицал Толстой. — Мы с Сютаевым совершенно различные, такие непохожие друг на друга люди ни по складу ума, ни по степени развития, шедшие совершенно различными дорогами, пришли к одному и тому же совершенно независимо один от другого!» О царстве, где «будет всем добро и всем хорошо» Толстой написал (за один вечер) сказку с длинным, подобающим лубочным повестям, названием: «Об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе, и о трех чертенятах». Сказка была опубликована в 1886 году, но «кощунственной» мечты о жизни без насилия государство Толстому простить не могло, и в марте 1887 Московский цензурный комитет запретил переиздание. Не понравилась она многим и в интеллигентской среде. Н. Н. Страхов писал Толстому: «Вы доказываете, что государством, войной, торговлею жить нельзя, а Франция, Англия, Германия живут; Вы пишете, что враг ушел бы из мирной страны, а англичане и не думают уходить из Индии».

В сказке крестьяне спрашивают у Ивана-дурака, правда ли, что если они не пойдут в солдаты, то царь Иван предаст их смерти. Тот смеется: «Как же я один вас всех смерти предам? Кабы я не дурак был, я бы вам рас-

толковал, а то я и сам не пойму». В совсем не сказочном «Письме к индусу» Толстой разъясняет свою мысль: «Торговая компания поработила 200-миллионный народ. Скажите это человеку, свободному от суеверия, он не поймет, что значат эти слова. Разве не ясно по одним цифрам, что не англичане, а сами индусы поработили себя. Индусам жаловаться на то, что англичане поработили их, всё равно, что людям, предающимся пьянству, жаловаться на то, что продавцы вина поработили их. Если индусы порабощены насилием, то только оттого, что они сами жили насилем. Не противьтесь злу [насилием], но и сами не участвуйте во зле, в насилиях администрации, судов, сборов податей, войска, и никто в мире не поработит вас». Копия письма попала в руки молодого индуса по имени Мохандас, который вначале основал «Толстовскую ферму», а со временем стал лидером национально-освободительного движения Индии. Фамилия этого индуса — Ганди; индийский народ назвал его Махатмой («Великой душой»), и всем известен результат развернутой под его руководством ненасильственной кампании гражданского неповиновения и несотрудничества с колониальными властями: из Индии англичане были вынуждены уйти.

В «Сказке об Иване-дураке» Толстой предсказал и гонку вооружений, и авиабомбардировки, и появление систем залпового огня. В другом антивоенном сочинении — «Работник Емельян и пустой барабан» (это переработка народной сказки «Пустой барабан», вошедшей в состав сборника Д. Н. Садовникова «Сказки и предания Самарского края») — задан вопрос о природе насильнической власти и поставлена задача ее уничтожения, решение которой предлагает «Сказка об Иване-дураке». Завязкой истории Емельяна стала ситуация, упомянутая также в рассказах «Свечка» и «Кающийся грешник» (последний имеет прообразом повесть XVII века «Притча о бражнике»): власть имущий отобрал у беззащитного человека жену. Чудовищная несправедливость такого поступка настолько врезается в память, что даже авторы и редакторы Библии не посмели вычеркнуть из жизнеописания царя Давида эпизод, и ныне поражающий читателей Ветхого Завета:

Святую Библию читает
Святой монах и объясняет:
Свиной, мол, царь какой-то пас,
Жену у друга отобрал,
Убил его... И в рай попал!
Да, вот такие-то у нас
Сидят в раю!

Перевод фрагмента поэмы «Кавказ» Тараса Шевченко, который для украинцев «наше всё» (и даже в большей степени, чем для россиян —

Пушкин), помещен здесь неспроста. Если в «Войне и мире» Наполеон и другие персонажи более чем часто говорят на чистейшем французском языке (русского перевода в первых изданиях не было, подразумевалось, что и так все понятно), то в рассказе «Два старика» (созданном на основе опубликованных в журнале «Домашняя беседа для народного чтения» свидетельств старца Саровской пустыни Иллариона) читателя ждут украинские реплики. Профессор Д. И. Эварницкий (Яворницкий), встретив случайно в железнодорожном вагоне Толстого, задал ему вопрос: «Почему вы, русские, запрещаете нашим детям учиться в школах на нашем языке? Вы, великий художник русского слова, поймете наше горе: наши дети, проведя несколько лет в школе, выходят из нее с очень скверным, искаленным языком, который — ни украинский, ни русский, а какая-то смесь». Толстой ответил: «Запрещает вам не русский народ, а государственное российское правительство по главе с Победоносцевым. Любое государственное правительство — зло. Что касается меня, то я очень люблю ваш народный украинский язык, звучный, яркий и такой мягкий. В вашем языке столько нежных, сердечных, поэтичных слов: я́сочко, зіронько, квітонько, сёрдэнько». А далее писатель неожиданно начал декламировать наизусть поэму Шевченко «На́ймычка», причем, как отмечает Эварницкий, — с хорошим произношением и правильными ударениями. (Более того, Толстой включил это произведение в список текстов, изучение которых желательно в русской школе.) Изумленный профессор спросил, где и с чьей помощью «великий писатель земли русской» выучил украинский? Толстой ответил, что, зная русский и польский языки, можно очень быстро научиться читать по-украински, особенно живя в таком городе, как Москва, где много украинцев. Вот по-староеврейски научиться читать намного сложнее... Заметим, к слову, что помимо французского и немецкого, которыми писатель владел в совершенстве (в Веймаре школьный учитель принял его за немца — «потому что он говорил по-немецки так же хорошо, как мы»), а также английского, Толстой читал книги еще на нескольких европейских языках, овладел древнегреческим (для перевода Евангелий), изучал древнееврейский (чтобы читать Ветхий Завет в оригинале), поступая в университет, сдал на отлично экзамены по арабскому и турецкому языкам.

Трактат «Так что же нам делать?» донес до нас динамику движения мысли Толстого: «Я понял, что рабство нашего времени производится насилием солдатства, присвоением земли и взысканием денег. И, поняв значение всех трех орудий нового рабства, я не мог не желать избавления себя от участия в нем». Вряд ли Махатме Ганди было известно, что Толстой пытался вразумлять жену: «Всякое сознательное и добровольное уменьшение своих требований в нашей семье на пять рублей в месяц дороже

приобретения в 50 000». Тем не менее, Ганди неоднократно заявлял, что величие нации определяется не тем, насколько высок уровень потребления ею материальных благ, а тем, насколько она смогла уменьшить свои материальные потребности. В 2009 году глава Русской православной церкви публично озвучил вопиющие статистические данные: если бы все человечество стало потреблять на душу населения столько, сколько потребляет средний американец, земных ресурсов нам хватило бы всего на несколько десятков лет. Так нужно ли догонять и обгонять Америку? «Желание никогда не угасает от наслаждения желанными предметами; как огонь от возлияния масла, оно еще больше возрастает», — сказано в древнеиндийских «Законах Ману». Герой рассказа «Много ли человеку земли нужно» все увеличивает свой земельный надел: «Сначала, покуда строился да заводился, хорошо показалось Пахому, да обжился — и на этой земле тесно показалось». Исход истории стандартный (всех нас это ждет): «Поднял работник скребку, выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил — три аршина, и закопал его».

«Возьмите лестницу состояний от людей, проживающих в год триста рублей до пятидесяти тысяч, и вы редко найдете человека, который бы не был измучен, истомлен работой для приобретения 400, когда у него 300, и 500, когда у него 400, и так без конца. И нет ни одного, который бы, имея 500, добровольно перешел на жизнь того, у которого 400... Всем нужно еще и еще отягчать трудом свою и так уже отягченную жизнь и душу свою без остатка отдать учению мира. Нынче приобрел поддевку и калоши, завтра — часы с цепочкой, послезавтра — квартиру с диваном и лампой, после — ковры и гостиную и бархатные одежды, после — дом, рысаков, картины в золотых рамах, после — заболел от непосильного труда и умер. Другой продолжает ту же работу и также отдает жизнь тому же Молоху, также умирает и также сам не знает, зачем он делал все это», — констатирует Толстой в трактате «В чем моя вера». А в работе «Так что же нам делать?» он уже утверждает: «Деньги — безобидное средство обмена, но только не тогда, когда они насильно изымаются... Где есть насилие, деньги не могут служить правильным средством обмена, потому что не могут быть мерою ценностей». Чтобы узнать мнение экономистов о его взглядах на роль денег в обществе, Толстой пригласил к себе на беседу известных московских профессоров. После разговора университетский преподаватель А. И. Чупров делился впечатлениями: «Что за удивительная способность мысли, что за сила природная живет в мозгу этого человека! Своим умом, в одиночку, не имея понятия об экономической науке, проделать всю ее эволюцию до XVIII века и подвести ей именно тот итог, который был тогда исторически подведен! Это неслыханно! Это сверхъестественная голова! Это умственный чудовищный феномен!»

Апостол Павел в одном из своих посланий выдвинул максимум: «Кто не работает, тот не ешь». Написанная Толстым «Сказка об Иване-дураке» заканчивается утверждением этого принципа: «Только один обычай у него и есть в царстве: у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки». Отрицанию всевластия денег посвящен и рассказ «Два брата и золото». Он основан на вошедшей в «Прólogo» легенде «Повесть святого Феодора, епископа Едесского, о столпнице дивнем иже во Едессе». Это старинное назидание было обращено главным образом к аскетам, нищенствующим монахам, поэтому знакомящиеся с толстовской переработкой часто недоумевают: почему ангел отдал предпочтение поступку первого брата, если второй совершил столько добрых дел? Действительно, получившему денежную помощь не очень важно, какими соображениями руководствовался оказавший ее, но тот, кто планомерно очищает свою душу, должен знать, что в «духовный зачет» идет не факт, а акт, что учитывается мотив поступка. Обратим внимание на ключевой момент рассказа: «Стали люди хвалить Афанасия за все то, что он сделал. И радовался на это Афанасий». Но «не для того же я родился на свет, чтобы меня хвалили», — говорил Толстой. «И тогда обличила Афанасия совесть его, и познал он, что не для Бога делал он дела свои, и он заплакал и стал каяться». (Так обличал израильтян от имени Всевышнего и библейский пророк Захария: «Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, — для Меня ли вы постились? Для Меня ли?»)

Когда герой романа «Время-не-ждет» Джека Лондона (экс-миллионер, уехавший от суеты «деловой жизни» на горное ранчо, чтобы пахать землю, колоть дрова и объезжать лошадей), наткнулся при починке водопровода на золотоносную жилу, его поначалу охватила золотая лихорадка. Он некоторое время как безумный работал киркой, а в голове у него возникало видение за видением: новые дороги, мост, шахты, штольни, подъемники... Но вот копающий осознал, что золото опять хочет поработить его, и он с не меньшим рвением бросился засыпать раскоп. Помимо страха перед возрастанием своей гордыни у Иоанна, «меньшого брата» Афанасия, было множество иных оснований для того, чтобы шарахнуть от кучи золота как от ядовитой змеи. Тарасу-брюхану (брату Ивана-дурака) золото не пошло впрок. И результат толстовских попыток благотворительной деятельности вовсе не был таким идиллическим, как в рассказе «Два брата и золото». Еще когда Толстой с увлечением строил планы совмещения московской переписи населения с оказанием помощи нищим, вышеупомянутый крестьянин Сютаев сразу сказал: «Вся ваша эта затея пустая, и ничего из этого добра не выйдет». И точно, вскоре разочарованный Толстой писал: «Из предложения моего по случаю переписи ничего не вышло... И я почув-

ствовал, что в деньгах, в самых деньгах, в обладании ими есть что-то гадкое, безнравственное, что самые деньги и то, что я имею их, есть одна из главных причин тех зол, которые я видел перед собой». Он, как Афанасий, «познал, что не золотом, а только трудом можно служить Богу и людям».

Дьявол, подбросивший золото двум братьям, и черт в «Сказке об Иване-дураке» оказались посрамленными, но в рассказе «Как чертенок краюшку выкупал» нечистая сила призвала себе на помощь спиртное, благодаря чему одержала полную победу. В «Календаре с пословицами на 1887 год» Толстой описывает празднование Рождества: «Разговевшись, идут по дворам пить. И начинается пьянство и распутство на всю неделю. Именинник Христос, а празднуют дьявола — его радуют». Желая ускорить приход праздника на улицу противников дьявола, писатель выступил с инициативой создания общества трезвости (первого в России), которое в 1887 году начало свою работу. Толстой написал несколько ярких статей о пагубном воздействии алкоголя на тело и, главное, на душу человека, переделал рассказ о чертенке в пьесу «Первый винокур, или как чертенок краюшку заслужил». Вопреки цензурным запретам (дьявол не дремлет!) пьеса ставилась в народных театрах.

Сюжет рассказа «Как чертенок краюшку выкупал» скомпонован Толстым из белорусской и татарской легенд о винокурении, помещенных А. Н. Афанасьевым в сборник «Народные русские легенды», но окончание рассказа новое. Наблюдая за тем, как мужики по мере опьянения сначала как лисы хвостами друг перед другом виляют («друг дружку обмануть хотят»), затем звереют как волки и дерутся, а потом как свиньи падают в лужу, старший черт высказал традиционное предположение о составе бесовского зелья: «Не иначе ты сделал, как напустил туда сперва лисьей крови: от нее-то мужик хитрый, как лисица, сделался. А потом — волчьей крови: от нее-то он обозлился, как волк. А под конец подпустил ты, видно, свиной крови: от нее-то он свиньей стал». Но чертенок отвечает: «Нет... Она, эта кровь звериная, всегда в нем живет... Только бы вино пил, всегда зверем будет».

Когда-то Омар Хайям призывал понять:

О чадо четырех стихий, внемли ты вести
Из мира тайного, не знающего лести!
Ты зверь и человек, злой дух и ангел ты;
Все, чем ты кажешься, в тебе таится вместе.

Перевод О. Румера

Поскольку человек, как сказано в Библии, создан Богом по Его образу и подобию, люди являются своего рода иконами (изображениями) Бога.

Превращать ангельский лик живой иконы в звериную морду — не меньшее кощунство, чем пририсовать к церковным образам свиной пяточок.

Звериный оскал злобы нередко искажает человеческое лицо и без помощи алкоголя. Сколько раз мы становились участниками ситуации, послужившей завязкой трагической истории рассказа «Упустишь огонь — не потушишь»: «Обидно стало молодайке, сказала слово лишнее, соседка еще два; и стали бабы ругаться. Шла Иванова жена с водой, тоже ввязалась. Выскочила Гаврилова хозяйка, стала соседку укорять, помянула, что было, да и то, чего не было, приплела. И пошла трескотня. Все вдруг кричат, норовят по два слова в раз выговорить. Да и слова-то все дурные». За словами нередко следуют поступки. Каждому, наверное, приходилось быть свидетелем того, как неглупые, казалось бы, но ослепленные злобой люди начинают судебную тяжбу, обогащающую лишь судей и адвокатов. Финал: «Иван повернулся и увидел, что задний сарай его полыхал весь, боковой сарай захватило, и огонь, и дым, и оскретки соломы с дымом гнало на избу... После Иванова занялся Гаврилин двор, поднялся ветер, перекинуло через улицу». А ведь в самом начале искру зла легко можно было погасить! «Ведь мне бы только выдернуть из застрехи да затоптать! Что ж это, братцы!» Если не удалось предотвратить вспышки гнева, то, по крайней мере, не надо усугублять ситуацию дальнейшими действиями — этому учит и рассказ «Девчонки умнее стариков», смысл которого хорошо передает двустишие из древнетамильского назидательного сборника «Тирукурал»:

Забуть добро, что сделано тебе, нехорошо, но хорошо
мгновенно позабуть свои обиды.

Другой афоризм из этой знаменитой тамильской книги (которая многократно цитируется в таких работах Толстого, как «Круг чтения» и «Путь жизни») мог бы служить идеальным эпиграфом к рассказу «Упустишь огонь — не потушишь»:

Грех порождает грех, как искра — пламя.
Страшнее грех, а не пожар.

Изображенный Толстым мудрый старик поучает сына: «Тебе слово, а ты смолчи, — его самого совесть обличит... Тебе плюху, а ты под другую подвернись; на, мол, бей, коли я того стою. А его совесть и зазрит. Он и смирится, и тебя послушает». Конечно, подворачиваться под плюху ох как не хочется! Да и не верится в действенность данного метода... Но вот как о его практической реализации индийцами пишет Парамахамса Йогананда: «Политические враги нападали на них и избивали. Порой безжалостно изувеченные ученики Ганди поднимались с земли, указывая на

свои раны и переломы и предлагая врагам снова нанести удар! Свидетели вспоминают, что такая ненасильственная демонстрация отваги заставила многих нападавших спрятать оружие и пожалеть об агрессивности в отношении сильных духом людей, которые, отстаивая свои убеждения, не боялись погибнуть или быть покалеченными».

После того, как рассказы «Упустишь огонь — не потушишь» и «Где любовь, там и Бог» увидели свет, Н. Н. Страхов в письме к Толстому сообщил о реакции на них славянофила И. С. Аксакова: «На него повеяло таким духом, что он уже отказывается судить об Вас».

Понятно, что отказать себе в удовольствии судить могли лишь единицы. Сегодня суждение цензоров о рассказе «Крестник» воспринимается как курьез, но до 1906 года духовная цензура очень даже серьезно запрещала «Посреднику» издавать рассказ, ибо она «не знает книги безбожнее этой». Произведение основано на апокрифе «Повесть о сыне крестном, како Господь крестил младенца убогого человека», а также на вошедших в сборник А. Н. Афанасьева народных легендах «Крестный отец» и «Грех и покаяние». В рассказе прослеживаются параллели и с другими фольклорными источниками — например, с голландской легендой о крестьянине Рип Ван Винкле, которой, потанцевав в лесу с гномами, чуть-чуть вздремнул, но когда вернулся в свою деревню, выяснилось, что прошло много-много лет, и там живут теперь совсем другие люди. (Герою рассказа Толстого «так весело и радостно было, что думалось ему, что прожил он тут только три часа, а прожил он тут тридцать лет».)

Все приключившееся с крестником в палатах с золотой крышей призвано вновь проиллюстрировать своеобразный вариант теодицеи («оправдания Бога»): хотя в мире много зла, Всевышний не устраняет его, ибо знает, что любой другой вариант мироустройства был бы еще хуже. Нарушив хрупкую гармонию, крестник вынужден искупать свой грех суровой епитимьей. Мотив искупления посредством взаимодействия с более отъявленным грешником является темой легенды «Грех и покаяние», вариант которой (хорошо известный в уполовиненной песенной версии: «Было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман») включил в свою поэму «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасов. В полном соответствии с фольклорным источником Кудеяр освобождается от греха, убив злодея, пана Глуховского. В рассказе Толстого подобным извергом является разбойник, говорящий о себе: «Езжу по дорогам, людей убиваю: что больше людей убью, то веселей песни пою». (Такой зловещий персонаж может быть лишь плодом воображения писателя? Нет, автору вовсе не требовалось напрягать фантазию, и в реальной жизни прототипов — хоть отбавляй. Так, 15 мая 1881 года в Ясную Поляну приехал тульский губернский предводитель

дворянства П. Ф. Самарин. В разговоре с ним Толстой упомянул о людях, совершивших покушение на Александра II. Самарин «с улыбочкой» ответил: «Надо их вешать».) Однако традиционная концовка легенды Толстого не устраивала, потому что «зло от зла умножается. Что больше гоняют люди зло, то больше зла разводят». Уничтожению подлежит не грешник, а грех.

Запретила цензура издательству «Посредник» публиковать и рассказ «Три старца», основанный на сюжете, письменно зафиксированном в русской традиции еще князем Андреем Курбским (1528–1583), который слышал его от Максима Грека (Михаила Триволиса). У Курбского вместо архангельского архиерея действующим лицом является Блаженный Августин, епископ Гиппонский (354–430), плывущий по Средиземному морю с Карорагенского собора, где множество епископов и святителей западных и восточных обсуждали «с великой мудростью» догматы «правой веры». Легенда получила распространение как на Западе, так и на христианском Востоке. Известны также буддийские и суфийские аналоги. Сравнительно недавно в одной из деревень Брестской области был записан вариант, примечательный степенью своей веротерпимости: «Шел по лесу человек. Шел он, шел, далеко зашел. И вот видит он человека. Человек этот прыгает через бревно. Перепрыгнет на одну сторону, скажет: “Это тебе, Боже!” Перепрыгнет назад, скажет: “Это мне, Боже!” Так скачет и приговаривает: “Это тебе, Боже! Это мне, Боже! Это тебе, Боже! Это мне, Боже!” Тот, что шел по лесу, спрашивает того, что скачет:

— Что ты делаешь?

— А я Богу молюсь.

И снова скачет, приговаривает: “Это тебе, Боже! Это мне, Боже!”

— Ну, ты молись, — сказал тот, что шел, — лишь бы ты молился.

По всякому верят и молятся люди. Мы, православные, по-своему. Католики по-своему. Баптисты по-своему. Евреи по-своему. Татары по-своему. Китайцы по-своему. Тот человек, который через бревно скакал и приговаривал “Это тебе, Боже! Это мне, Боже!”, тоже верил и молился по-своему». А в варианте Толстого старцы на острове подают нам (привыкшим к штампу «слуга народа») пример трезвого смирения: «Не умеем мы, раб Божий, служить Богу, только себе служим, себя кормим». Интересно, что произведение Толстого вновь перешло в фольклор: в конце две тысячи восьмого года на сайте «Христианский юмор» появился анекдот, представляющий собой краткое изложение все той же легенды.

Известный закон социальной коммуникации гласит: «Все, что можно неправильно понять, поймут неправильно». Поэтому не будет лишним подчеркнуть (на всякий случай): эти рассказы не о том, что нужно бросить все дела на самотек (мол, Бог позаботится), не о том, что не нужно строить больниц и домов престарелых, не о том, что грешно совершать паломничество, не о том, что плохо учить наизусть молитвы, которые нас вдохновляют, не о том, что нужно всю жизнь грешить, а покаяние отложить до момента смерти, и уж, конечно, не о том, что нужно убивать матерей, забываясь чтобы они не наделали лишних грехов. Суть сказанного Толстым можно кратко выразить фразой, которую в его рассказе-зарисовке «Разговор с прохожим» произносит «калуцкий» крестьянин: «Это что, одни пустяки, о душе первое дело». Можно ли в наши дни, когда поклонение золотому тельцу и проповедь вещизма приобретают крайне гротескные формы, изобрести более актуальный лозунг?

Несомненно, придирчивые богословы найдут (и многократно находили) в этих рассказах противоречие церковным догматам. Но при желании такие же противоречия можно усмотреть и практически в любом из библейских повествований (не говоря уже о том, что догмы одной религии нередко выглядят ошибочными с точки зрения другой). Судить же о дереве нужно по плодам. После публикации первого из народных рассказов Толстого Н. П. Гиляров-Платонов высказался в своей славянофильской газете: «Хотите знать мое мнение? — наш народ если еще остается в христианстве или, точнее, если и насколькo вкусил христианства, тем обязан именно подобным легендам и ничему более. Остальное есть идолопоклонство, хотя во внешней христианской форме». Ближайший современный пример: Б. А. Диодоров, создавший замечательные иллюстрации к данной книге, утверждает, что ощутил Бога, именно прочитав сказки Толстого. Художник говорит: «Своим духовным наставником я до сих пор считаю Льва Николаевича Толстого... Когда я его читаю, сразу возникает желание работать. Мне всегда есть что сказать, это всегда глубинные совпадения. Толстой привел меня к вере... Иллюстрируя его народные рассказы, я постиг его высокие нравственные заповеди. Ведь это все по заповедям Господним и все обращено к простому народу. После прочтения его рассказов все у меня встало на место, все стало получаться... Помню в 1985 году у меня была выставка на Кузнецком, и ко мне подошли японцы. Они там увидели мои иллюстрации к Тургеневу. “Мы выбрали вас как иллюстратора народных рассказов Льва Толстого”. Еще при жизни Толстого эти рассказы стали очень популярны в странах Востока. Я их не читал до встречи с японцами, а прочел при странных обстоятельствах. Союз художников направил меня в командировку с выставкой в Германию, по пяти городам. Я сел в аэробус “Люфтганзы”, открыл книжку с рассказами,

начал читать и тут вдруг понял, что я не просто оторван от земли... Из самолета я, мне кажется, вышел уже другим человеком».

По воспоминаниям домочадцев Толстого, он, ознакомившись с иллюстрациями Н. Н. Ге, сказал: «Когда я увидел работу Николая Николаевича, для меня ожила и моя-то собственная работа, я ее как будто сизнова стал переживать». Когда рассматриваешь рисунки Бориса Диодорова, тоже заново переживаешь давно знакомые сюжеты, они оживают. Несомненно, эти иллюстрации заслуживают не краткого упоминания в предисловии, а отдельной книги. Но судить, не имея специальных знаний, о работах художника, ставшего лауреатом всех главных отечественных и зарубежных премий в области книжного искусства, было бы верхом неприличия. Максимилиан Волошин ради обретения способности писать критические статьи о живописи выучился в молодости на художника. В моем возрасте подобный поступок вряд ли возможен, поэтому вынужден ограничиться выражением искренней благодарности Борису Аркадьевичу как соавтору Льва Николаевича Толстого.

Дмитрий Бурба
2010